

О В. Ф. Коммиссаржевской.

Она ушла.

(Памяти В. Ф. Коммиссаржевской).

Она ушла—и все кончено. Больше нѣтъ Вѣры Федоровны Коммиссаржевской. Слишкомъ часто прекрасное такъ рано уходитъ изъ міра, слишкомъ часто оно такъ нелогично. Шестнадцать лѣтъ съ небольшимъ яркимъ огнемъ необыкновеннаго таланта освѣщала она русскую сцену и горѣла сама, и вотъ—сгорѣла.

Талантъ былъ необыкновенный. Онъ не только чаровалъ своей красотой, онъ волновалъ глубоко и страстно. Въ немъ съ высшимъ даромъ сценическаго творчества была соединена и окрашивала его какая-то постоянная боль души большой и неудовлетворенной, чего-то не найденной въ жизни, чѣмъ-то оскорбленной и обманутой ею, но не смиренной и мятежной. И вѣроятно это больше всего и передавалось, сильнее всего заражало. Было въ этомъ что-то ужасно наше, родное, русское, національное. И потому оно было такъ близко намъ и дорого, такъ задымало за сердце, хватало за душу, будто свое личное.

Мятежная красота, пронизанная болью,—вотъ, кажется мнѣ, главное и основное въ творчествѣ Коммиссаржевской, иначе я не могу охарактеризовать его. И съ полной силой развѣртывалось оно въ онъ гнѣвъ тогда, когда она не сковывала его намѣренно и насильственно. А она, увы, именно это дѣлала въ послѣдніе годы. Стихійную мощь таланта она загоняла въ узкія рамки выдуманныхъ, искусственныхъ формъ. Поразительно искреннее и непосредственное дарованіе принуждало себя къ неискренности, добровольно себя связывало и замыкало.

Это было увлеченіе, ошибочное и печальное, но и оно вытекало изъ того же основного свойства души Коммиссаржевской—неудовлетворенности и мятежности. Она не чувствовала себя удовлетворенной и своимъ искусствомъ, ей казалось, что въ старыхъ, обычныхъ формахъ его она не можетъ выразить всего того, что хочетъ, о чемъ грезить, что нужно новое—новые способы и приемы сценическаго воплощенія. Она ихъ искала сама и слѣдовала за чужими указаніями, и жестоко калѣчила свой удивительный даръ.

И, наконецъ, отвергнувъ чужую указку, все-таки не вполне возвратилась къ прежнему, непосредственному творчеству. Осталась манера не столько произносить, сколько выбрасывать слова, осталась однотонность рѣчи, однообразіе ритма, скованность жестовъ и движеній, игра на плоскости, въ двухъ измѣреніяхъ.

Прекрасной оставалась артистка, ея талантъ не смотрѣлъ ни на что, выражалъ себя, но размѣры его воздѣйствія и зараженія не могли не понизиться. Однако, и въ этотъ періодъ бывали моменты, когда она сбрасывала съ себя добровольныя путы,—и тогда передъ покореннымъ, зачарованнымъ театромъ вставала во весь ростъ прежняя Коммиссаржевская и съ прежней силой овладѣвала имъ. Такою видѣлъ ее въ Кіевѣ весной 1907 года, и такую же во многомъ была она и въ свой недавній, увы, послѣдній прїѣздъ.

За эти два раза она дала такъ много и такихъ незабвенныхъ переживаній, что у испытавшаго ихъ они не изгладились никогда. Не забудется ея Роза въ „Божь бабочекъ“, въ которой артистка, превращаясь въ юную дѣвушку, еще почти ребенка, съ чистой дѣтской душой и зачастую съ еще совѣтъ дѣтской психологіей, заставляла чувствовать всю прелесть, весь непорочный ароматъ этого едва распускающагося цвѣтка, раскрывала его чистыя, прекрасныя переживанія, его нѣжныя чувства, его безгрѣшныя грезы и сны; не забудется этотъ живой, прелестный образъ, подвижный и трепещущій, какъ ртуть, играющій переливными цвѣтами, какъ грани хрустала подъ солнечнымъ лучомъ. И не забудется другой, родственный образъ—„Дикарка“ Островскаго, это воплощеніе радости жизни, радостной игры молодыхъ соковъ, въ которомъ какъ будто сконцентрировалось все, что есть въ жизни стихійно-чарующаго, исходящаго отъ цвѣтущей земли, вся прелесть и вся оргійная радость бытія.

Чтобы такъ раскрыть, такъ выразить эту радость—какъ дѣлала это въ этихъ роляхъ Коммиссаржевская,—надо имѣть ее въ душѣ своей. Нельзя такъ перевоплотиться въ Розу или въ дикарку-Варио, если не имѣешь въ самой себѣ нѣчто отъ Розы и Вари. Многогранна должна быть душа, которой равно свои—и глубокая скорбь жизни, и чистѣйшая радость ея. Многограненъ долженъ быть талантъ, чтобы съ красотой и правдой выражать и то и другое.

Но скорбь родице была душѣ Коммиссаржевской, скорби и боли больше было въ душѣ ея, а потому и репертуаръ ея состоялъ главнымъ образомъ изъ ролей такого характера. Такого и большинство ролей, сыгранныхъ ею въ Кіевѣ. Какъ памятна въ оба ея прїѣзда сыгранная роль Марикки въ „Огняхъ Ивановой ночи“! Строго, съ сдержанной страстью вела здѣсь игру Коммиссаржевская, а

зритель по блѣдному лицу, по огромнымъ глазамъ видѣлъ то, что клокочетъ и кипитъ тамъ, въ тайникахъ сердца Марикки, какъ одиноко стонетъ и плачетъ оно—тихо и неслышно, подавляемое сильною волей и гордымъ духомъ. Не было ни одного лишняго жеста, простыя позы, сдержанныя движенія,—и только подавленный, но выразительный модуляціи голоса—и душа раскрыта, и совершающаяся въ тиши и тайнѣ драма ея близка и понятна.

Эта способность простѣйшими средствами достигать великихъ результатовъ особенно ярко сказывалась въ „Сестрѣ Беатрицѣ“. Здѣсь, въ роли Беатрицы, Коммиссаржевская властно приковывала къ себѣ напряженнѣйшее вниманіе, которое ни на секунду не ослабѣвало, не смотря на ея однотонную и одноритмичную стилизованную игру. Ибо въ мѣрный кадансъ своей рѣчи, въ эту опрощенную и какъ бы обезличенную форму, она, неуловимыми отгѣнками внутренней музыки, съ такимъ совершеннымъ мастерствомъ умѣла вложить все, что надо, умѣла ею сказать все, что надо и какъ надо. Такъ же умѣла она, уже другими, старыми художественными приемами, раскрыть и показать душу Ибсеновской Норы, съ несравненной ясностью дать картину духовнаго пробужденія Норы, превращенія ея изъ куколкы въ человека. И это со множествомъ прелестнѣйшихъ художественныхъ деталей и съ сильнѣйшимъ пафосомъ въ послѣднемъ актѣ и въ послѣдней сценѣ съ мужемъ. Была душа, широко раскрывшимися и понимающими глазами глядящая на міръ и не только не сломленная обрушившейся на нее трагедіей, а, наоборотъ, страшно отъ нея выросшая.

Въ ибсеновской Геддѣ Габлеръ Коммиссаржевская на первый планъ выдвигала страстную жажду жизни, но жизни яркой, красивой, сильной, обаятельной, жизни, которая должна быть непроницаемо ограждена отъ малѣйшаго проникновенія пошлости. Гедда Коммиссаржевской была женщиной, сдѣлавшей идею красоты верховнымъ принципомъ своей жизни. Эта идея окрашивала и пронизывала все исполненіе артистки отъ начала до конца, и Коммиссаржевская давала дѣйствительно чарующій образъ, которому можно было все простить, который не только не отталкивалъ, но неотразимо плѣнялъ, какъ плѣняетъ все красивое, сильное и цѣльное.

Страстная жажда жизни и счастья трепетно билась и въ Ларисѣ Коммиссаржевской въ „Безприданницѣ“. Вначалѣ это была тихая, грустная дѣвушка, покорившаяся сѣренькой судьбѣ, которую она себѣ избираетъ. Но дальше уже проступала наружу боль души, предчувствующей надвигающуюся на нее грозу, и все росла и мучой наполняла раздраемую противоположными стремленіями душу. И такая печаль глядѣла изъ необыкновенныхъ глазъ Коммиссаржевской, такая музыка скорби звенѣла въ металлѣ дивнаго голоса, и такъ робко проступалъ трепетъ вернувшейся надежды. Вѣрно было, какъ она вся напряжена, словно сталь, какъ ей хочется жаждущими губами прикоснуться къ спускающемуся къ ней кубку счастья. А потомъ, въ концѣ, съ такой силой выливалась въ исполненіи смертельно раненая душа, была такая правда страданія и такъ дивно выраженная,—и все это въ красотѣ такого совершеннаго достиженія, какое доступно только избранному, Богомъ вдохновенному таланту.

Но когда я думаю о Коммиссаржевской, она мнѣ вспоминается чаще всего не въ этихъ роляхъ, а въ той, въ которой я въ первый разъ увидалъ ее въ Москвѣ,—въ роли Гильды въ „Строителѣ Солнечѣ“. Мнѣ никогда не забыть этого прекраснаго образа смѣлой дѣвушки, полной возвышающихъ грезъ и внушающей намъ строить воздушныя замки съ высокими башнями, съ которыхъ открывался бы видъ во все стороны, откуда были бы видны все дали...

Она и была Гильдой въ своемъ дивномъ сценическомъ творчествѣ, полномъ пронизанной болью красоты, мятежномъ и зовущемъ насъ на высокія башни духа, откуда вилины дали. И вотъ внезапно она ушла отъ насъ навѣки куда-то, въ какую-то невѣдомую даль. Ушла преждевременно-рано. И становится грустно безконечно, особенно отъ мысли, что была она художникомъ сцены, художникомъ того искусства, которое владѣетъ тайной самой, быть можетъ, захватывающей силы, но которое налѣгло лишь мгновенной жизнью и живетъ лишь пока совершается. Ушла большая, очень большая актриса-художница, дававшая своимъ творчествомъ мнуды величайшей духовной радости,—и что отъ нея остается? Воспоминанія,—правда, незабвенныя, но все-же только воспоминанія,—у тѣхъ, кто видѣлъ ее. А что для тѣхъ, кто ея не видѣлъ и не увидитъ никогда?—Имя, одно только имя. Имена великихъ артистовъ музыки и сцены остаются жить лишь въ качествѣ великихъ преданій. И въ сонѣ такихъ преданій вступила теперь наша Коммиссаржевская...

И. Джонсонъ.